



Пасха как почва

В наши дни трудно представить, до какой степени вся культура дореволюционной России была пронизана христианством. Притом не столько даже каким-то высоколобым христианством тонких богословских истин, сколько бытовым нервом православной веры. Даже те, кто перешёл в стан отчаянных атеистов, буйных сектантов или каких-нибудь, прости, Господи, тёмных эзотериков, — и они отнюдь не могли расстаться с христианской культурой до конца. Спорили с православием, дерзили, усмехались, видя простое крестное знамение, а культурный ритм, заданный всему русскому обществу «средой и пятницей», перебороть в себе не могли.

Так и литература наша, бывало, наскокивала на христианство, пыталась уйти от него, но не умела без него обойтись — как трава без почвы.

Почва же — вон она, за окном. Утренняя молитва с вечерней, да череда постов и христианских празднеств. А в центре всего, всё выстраивая в лад, всему придавая смысл, стояло Воскресение Христово и, стало быть, праздник Пасхи.

До революции...

Так, для знаменитого философа и публициста **Константина Николаевича Леонтьева** Пасха являлась святыней, хорошо знакомой с детства, забытой в юности и опять открытой в зрелом возрасте. Побывав на Афоне, Леонтьев оставил воспоминания о Великом посте: «Пасха на Афонской горе». Он с ужасом и благоговением наблюдал, как иноки погружаются на самое дно великопостных переживаний:

«Греки при начале Великого поста нередко приветствуют друг друга так: «Желаю тебе благополучно переплыть Четыредесятницы великое море!»

Истинно великое море! Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы, от которой, однако, сама совесть, сама личная воля не позволит отказаться без крайнего изнеможения! И сколько невидимых «камней» духовного преткновения! Над церковью в Русси-ке есть хоры; за хорами этими две небольших кельи; в кельях этих нет ничего, кроме аналоя с крестом и Евангелием и одного кресла для отдыха духовнику. Кельи эти дверями выходят в коридор, а на хоры окнами, заклеенными тонкой и тёмной материей, сквозь которую слышно всё богослужение бесконечного, истинно всенощного бдения (оно продолжается ино-

Пасха в русской литературе: от Гоголя до Набокова

Все наши классики, все сколько-нибудь крупные писатели дореволюционной России как-нибудь — с раздражением ли, с любовью ли, с твёрдой верой ли, — а пасхальной темы хотя бы раз в своём творчестве касались. Сто лет назад процветал даже особый жанр пасхального назидательного рассказа, и ему отдавали дань лучшие литераторы того времени.

гда 13–14 часов!). Посмотрите, как теснятся в коридоре у дверей этих келий скорбящие монахи всех возрастов и всяких степеней духовного опыта! Они ждут-не дождутся очереди излить души свои перед старцами!

Они пришли сюда признаваться в самых тонких «искушениях», открывать самые затаённые «помыслы»; или выразить свое отчаяние, если телесный подвиг поста тому или другому из них не по силам; быть может, даже сознаться в минутном раскаянии, что стал монахом, в преходящем, но мучительном порицании монашества и сурового устава святогорских кинувий. Или ещё в худшем — в гневе и ропоте на самого этого старца за его требования. Именно на это-то и ответят им с любовью великого опыта, и посмеются немного, и расскажут что-нибудь подобное или из своей прошлой жизни, или из преданий».

Но вот близится к концу плавание по «великому и бурному морю» таинственной борьбы духа с бессильной и «многогротной» плотью. Приходит Великая неделя, самая тяжёлая...

Зато как меняется всё, когда заканчивается пост!

«Настает последний вечер. Все безмолвно, монашеские кельи заперты; длинные коридоры тихи; храмы пусты; лес, гора и берег моря — всё безлюдно... И вот в самую полночь — громкий удар молотом в доску. За ним другой, чаще, чаще! Внезапно вслед за тем раздаётся торжественный и сильный звон колоколов. Всё оживает мгновенно. Двери скрипят и стучат, слышны голоса, огни мелькают всюду. Сияют перед нами отпертые храмы сотнями свечей.

Всё пробуждается радостно и бодро!.. У самого усталого является непонятная сила возбуждения!

Конец «великому морю» телесного истязания и нестерпимой в иные дни душевной борьбы, уныния и туги!

Мы у берега — у берега веселого, цветущего! Мы отдохнем теперь. Мы достойны отдыха!

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»



Для **Николая Васильевича Гоголя** «Светлое Воскресение» являлось предметом самых трепетных упований. Он презирал собственное время, столь далеко ушедшее от христианского идеала. Ему казалось, что Европа для чистого, сильного религиозного чувства уже умерла. Для любви и веры всё сделалось «глухо», всё — «могила». Но Россия, полагал он, ещё может оторваться от злобы и своекорыстия, сделавшихся нормой века сего.

«В русском человеке — пишет Гоголь, — есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живой, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней — те же вседневные занятия,

та же вседневная жизнь, та же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России... Ему вдруг представится — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздаётся у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, всё это мечта; она исчезает вдруг, как только он перенесётся на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то по-



лусонной беготни и суеты, пустых визитов...; что честолубие кипит у нас в этот день ещё большие, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет...»

Однако сама эта мечта — праздновать Воскресение Христа так, как и следует его праздновать, т. е. с истинной, нелицемерной любовью обнимая ближнего, сопереживая ему, творя ему добро, всё же много стоила. Из неё может ещё, думал Гоголь, возродиться дух христианства в России. В других местах её более нет, она уже не стучится в умы людей, там сделалось холодно.

Поэтому Николай Васильевич выражал самую искреннюю надежду: *«Не умрёт из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесётся звонкими струнами поэтов, развозветится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения воспроднётся как следует прежде у нас, чем у других народов!»*

Антон Павлович Чехов в рассказе «Архирей» нарисовал фигуру печальную и трагическую. Провинциальный владыка, выбившийся из низов духовенства, почувствовал, что болен и, кажется, смерть подкрадывается к нему. Как раз наступает Великая неделя. День ото дня душа его попеременно испытывает то восторг, то тягу к глубочайшему раскаянию в грехах.

На одном из богослужений эта боль, столь созвучная духу последних дней перед Пасхой, прорывается: *«Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с чёрной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полночи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далёкое прошлое, в детство и юность, когда*